

Цѣна 20 пф.  
Preis 20 Pfg.

Подписная цѣна в Германіи  
1 зол. марка в мѣсяц.  
Цѣна объявленій: Послѣ текста  
20 пф. зол. за миллим., в текствѣ 60 пф.  
за миллиметр.  
Рукописи без обозначенія условій очис-  
тоты бесплатныя. — Редація не  
обязана возвращать мелких рукописей.  
Редація газеты «Времья» в Берлинѣ —  
Berlin W 2, Kronenstr. 4-5  
Телефон: Merkur 4340 и 4341.  
Редактор принимает заказы от 12—1 ч.  
Прим. подписныя и объявленія в конторѣ  
напечатанія Berlin W 2, Kronenstr. 4-5  
Телефон: Merkur 4340 и 4341.

# ВРЕМЯ

„WREMJA“  
ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА



№ 313

Берлин, Понедѣльник 21 Іюля 1924 г.

Год изданія VI

## Памяти Антона Павловича Чехова к двадцатилѣтію со дня смерти 1904—1924 г.

Робур.

### „Здѣсь умер Чехов“.

В Баденвейлер я вѣхал — это было год послѣ смерти Чехова — из Базеля. День был солнечный и яркій, но не жаркій, дышалось легко, нервы были слегка напряжены и слегка возбуждены. Дорога до Мюльгейма, повидимому, не произвела на меня сильнаго впечатлѣнія. По крайней мѣрѣ, в памяти моей какой то провал. Не было эмоцій, мысль была занята бурными базельскими впечатлѣніями в бурный 1905 год. Но как всегда, на сѣбю провалу идет особая острота впечатлѣній: гористый путь от Мюльгейма до Баденвейлера стоит предо мною во всей его прекрасной пластичности. Мнѣ кажется, что я еще и теперь узнаю бы каждый холм, контуры гор, каждое заблудшее в полѣ одинокое дерево. Это был послѣдній гористый ландшафт, ласкавшій глаз Чехова, насыщенный русской степью.

Станціонный городок, гдѣ пересаживался с поѣзда на поѣзд Чехов, не мог не быть чуждым ему, но был и новым для него. Маленькій город с тѣсными улицами и старыми, словно вдавненными домами. Послѣдняя «отрыжка» готики, сдвинувшей тѣснѣ гористые берега широкаго Рейна. Но здѣсь, у долинных истоков, и солнце врывалось бурнѣе под мрачные готическіе своды, и краски близкой Швейцаріи нарушали однотонный средневековый рисунок. За то, с бѣгом времени, с развитіем промышленности, в оживленных центрах новая линія сплелась быстрѣе со строгой готической рѣзью. Баденскій Шварцвальд лежит вдали от большой человѣческой дороги, и здѣсь формы застыли, контуры заснули; скрещеніе эпох не коснулось таких тихих, таких дремлющих городков, как Мюльгейм.

Сейчас за пересадочной станціей — горы под дымчатым флером, сонливый поля, застывшій в неподвижности воздух. Непрерывно звенит колокол на локомотивѣ, непрерывно, хотя медленно, тянется неуклюжій поѣзд все дальше и дальше, все выше и выше. Здѣсь все живо живет медленным темпом, — словно природа хочет приспособить нервы и кровь к разрѣженному воздуху гор. В свое время много писали о том, что разрѣженный воздух Баденвейлера был губителен для Чехова, — но мысли мои далеки от физиологических причин и слѣдствій. Нертерпѣніе увидѣть Баденвейлер, видѣть людей, которых видѣл Чехов в послѣдніе дни до смерти, ступать там, гдѣ ступала его нога, как то падает и свертывается под давленіем общей красоты, общей тишины. И даже в тот момент, когда я стоял уже перед облѣнными стѣнами курортнаго отеля, гдѣ умер Чехов, глаз перебѣгал от слѣпящей на солнцѣ бѣлой краски к разстилавшейся чуть ли не у ног глубинѣ, с ея далекими линіями, мягкими красками и дымчатым покровом больших далей.

В отель, гдѣ жил Чехов, старшим кельнером был тогда привѣтливый и внимательный человѣкъ. Он имѣл смутное понятіе о Чеховѣ, но был искренно рад тому, что комната Чехова была не занята никѣм и он мог показать ее мнѣ и моим спутникам. Из маленькаго вѣстия мы поднялись по скромной лѣстницѣ наверх; мы прошли не-

широким корридормом налѣво и открыли какую то тривиальную дверь — я очень много вѣздил и бродил по Германіи, и если бы не мысль о послѣдних днях Чехова, глаз не запомнил бы этой гостиницы, столь похожей на сотни других гостиниц средней руки, в которых пришлось останавливаться на протяженіи многих лѣтъ. И комната, в которой умер Чехов, была такая же сѣренькая, шаблонная и тривиальная, — как привелось видѣть их десятками и сотнями. Двѣ деревянныя кровати, с изголовьем к стѣнѣ, занимали полкомнаты, я бы даже сказал: давили комнату своей громоздкостью; умывальники, шкаф и нѣсколько стульев, — все под стилем комнаты, то есть: ремесленные и безстильные, — не столько украшали комнату или оживляли ее, сколько производили впечатлѣніе тривиальной завершенности «нужными» предметами.

А все таки каждый раз, когда перед моими глазами встает этот второклассный «Отель Зоммер» и эта «душпальная» комната, мнѣ кажется, что вся эта обстановка смерти в «стиль» Чехова, в рамках той скромной жизни, которую он вел. Нам теперь достаточно хорошо знакома эта жизнь, полная труда и достижений, надежд и разочарованій, духовных очарованій и обыденных впечатлѣній, — жизнь в общем лишенная и героическаго, и трагическаго пафоса. Чехов был раньше всего человѣкъ, тихій, даже застынчивый и преувеличенно скромный. Ничего неестественнаго, — ни в словах, ни в жестях, ни в поступках; ничего театральнаго, — ни среди интимных друзей, ни на людях; ничего мистическаго или сверхчеловѣческаго: ни в характерѣ, ни в мировоззрѣніи. Десятки друзей, и недруги — таких было мало, но такіе были, вспомним Ежова — писали о нем послѣ его смерти «воспоминанія», и всегда вставал перед нами тот же Чехов, каким и мы знали его или встрѣчали его, или рисовали его себѣ. Хорошій, скромный человѣкъ...

Это завело бы меня далеко и от темы, и от Баденвейлера, если бы я стал разбирать здѣсь возникшую в литературѣ теорію о значеніи «биографіи» в жизни писателя, биографіи в смыслѣ переживаній цѣпи больших ощущеній и больших переживаній. Чехов в этом смыслѣ стоял в сторонѣ от тѣх крупнѣйших русских писателей, в рядах которых ему суждено видное мѣсто. Вспомним хотя бы яркую, многогранную, я сказал бы даже: переливчатую жизнь Пушкина, от лицейских первотворческих дней вплоть до рѣжущей боли от Дантесовской пули. Вспомним метеорную жизнь Лермонтова, от того рокового дня, когда он бросил упрек русскому обществу за то, что оно не сохранило жизни Пушкина, тому самому обществу, которое четыре года спустя не сумѣло сохранить и его жизни. Жизнь каждаго русскаго писателя была трагедіей, поскольку она носила зачатки героическаго или страстотерпнаго характера...

Поняли ли бы мы Достоевскаго, если бы не знали, что он уже стоял на эшафотѣ и напряженно ждал смерти, сильной ея неминуемостью, когда чей то каприз или чья то воля даровала ему

жизнь, т. е. новую цѣль напряженных мученій. И был ли бы он Достоевским, если бы ему не было суждено, послѣ десятилѣтней каторги, взять в руки и напряженно посмотреть на раскованные с его ног кандалы? Было ли бы творчество Толстаго столь совершенно и столь завершено, если бы он не продѣлал в душѣ своей античной по силѣ трагедіи перехода от жизни в роскоши к опрощенію вплоть до героическаго ухода из Ясной Поляны? И не лежит ли нѣчто напряженно драматическое в странной судьбѣ Тургенева, ушедшаго по душевным мотивам из Россіи, чтобы вдали от нея возродить и вылить в художественное цѣлое духовную жизнь тогдашней Россіи? Только Чехов и жил среди нас, среди обывателей, дышал с ними одним воздухом, не выдѣлялся личностью из массы, не отличался жестом и смѣхом от толпы, не искал ни нарочитаго уединенія, ни маноснаго единенія с другими людьми...

Вдумаемся в «биографію» Чехова, в образ его внешне неяркой жизни, оттягучих и непривлекательных гимназических лѣтъ и скромных начинаній в московских юмористических журналах вплоть до его такой нудной и скучной, такой шаблонной, уже лишенной былого романтизма болѣзни: чахотки, и нам станет понятно, что Чехов не мог умереть иначе, как на тривиальной чужой постели в тривиальнѣйшей из курортных гостиниц. И жизнь сама как

будто подчеркнула, что в обыденной жизни Чехов был не больше, как скромный, тихій, не желающій быть замѣтным и замѣченным человѣкъ, когда по игрѣ случая его тѣло в Москву привезли в запачканном, таком будничном и таком скучном вагонѣ, с надписью — от жизни, а не от романтики, опять таки в духѣ и стилѣ Чехова — «для устриц». Но когда Чехов брал перо в руки...

Я не хочу сказать, что взявъ перо в руки Чехов становился романтиком в душѣ и искал в себѣ героических или трагических начал. Нѣтъ, он оставался тѣм же скромным и застынчивым Чеховым, но находил и в жизни скромных, застынчивых начал и претворял их пером в картины большой простоты, но и большой красоты. Он был весь — и человѣкъ, и писатель — анти-теза к тому, как Ницше рисовал нам героя: «С рукой на челѣ, так должен герой отдыхать, так должен и свой отдых превозмочь». Чехов никогда не клал руки на чело, он не героическим жестом, а трудом превозмогал свой отдых, он отдыхал от жизни, творя ту же скромную и тихую жизнь своих «героевъ», какою жизнью он сам жил. И «пріямъ» смерти в горах Шварцвальда, в заброшенном и германскую провинцію курортѣ так же скромно и нетеатрально, как умирали созданные им скромные и тихіе русскіе люди в глухой русской провинціи...

Робур.